

за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобою, как с недоброю сестрою, но в счастье мы все прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем – даже уважаема и его родными. Письма их так милы и приветливы, что, право, остальное стало для меня трын-травой. Столько я получила подарков, и все один другого лучше, что теперь будь покойна, придется мало тебя беспокоить своими поручениями».

«...Приписка М.Д. Достоевской, – замечает А.С. Долинин, – показывает, что это была женщина образованная, чувствительная, и вполне «ровная» своему знаменитому мужу». Не возражая в общем против подобной оценки (хотя, признаться, особую образованность здесь усмотреть трудно), добавим, что в настоящем случае был бы уместен, например, когнитивный анализ. Этот небольшой по объему текст позволяет тем не менее разглядеть в авторе натуру непосредственную и в то же время амбициозную. «Сверхзадача» письма – как можно чувствительнее уязвить родную сестру – в отместку за ее молчание, невнимание и прочие действительные или мнимые прегрешения. Причем сделать это чисто по-женски, как бы снисходя с высоты собственного благополучия, своего не вызывающего сомнений личного счастья. Мария Дмитриевна, готовая было поссориться с «недоброю сестрой», великодушно прощает ее потому, что в свете нынешнего своего положения она может не замечать холодности сестры. Что значат эти небрежности в сравнении с «умным, добрым, влюбленным в меня» мужем, а тем паче – с уважением его московской и петербургской родни. Их письма «так милы и приветливы» – очевидно, не чета сестринским. Тем более что новые родственники завалили Марию Дмитриевну таким количеством подарков («и все один другого лучше»), что теперь – «будь покойна!» – у нее нет надобности обращаться с подобными просьбами к черствой и неотзывчивой родственнице.

Все это, высказанное, как кажется автору письма, не без тонкого ехидства, на самом деле очень бесхитростно и наивно. Может ли такая женщина длительное время таить свои чувства и вести двойную игру? Кстати, героини, в которых так или иначе отразились черты Марии Дмитриевны, менее всего способны на перманентный обман.

Теперь допустим, что Мария Дмитриевна действительно сделала мужу свои страшные признания. Но вот она умирает – и обманутый супруг, казалось бы, должен теперь пересмотреть свои «итоговые оценки»: с горестью принять то, о чем спустя полвека заявит воспоминательница-дочь, – «эту мегеру он считал любящей и преданной женой».

Но – ничуть не бывало. Ровно через год после смерти Марии Дмитриевны Достоевский напишет Врангелю, что хотя он и знал, что жена умирает, «но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею». Да, он не отрицает, что они были «положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру)», однако «мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу». Ему ли не знать сближающую силу страдания?

Конечно, исходя из этих глухих намеков, *теоретически* можно предположить: Достоевский знал *все*. И его христианское всепрощение (вариант: писательское всепонимание) простиралось до такой степени, что он жертвовал личным счастьем для блага ближнего, в роли какового в настоящем случае подвизалась его собственная жена. Это допущение ничем не хуже уверений одного из его героев, что он свою супругу любил, но после ее измены стал еще уважать.

Непреложно одно. По завершении этого брака он говорит то же, о чем толковал в самом его начале: «Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь». Он не разочаровался в своей избраннице – и никогда не отзывал-